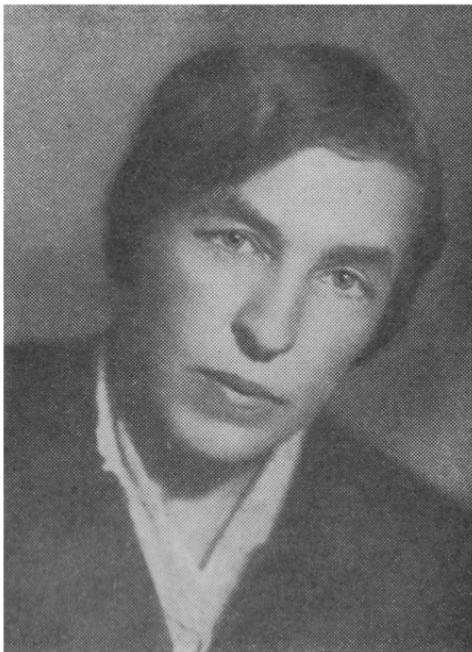


БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 6

1954



Н. ЕМЕЛЬЯНОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»
М О С К В А

НОВАЯ ФИГУРА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 6

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА

НОВАЯ ФИГУРА

РАССКАЗЫ

Издательство «ПРАВДА»

Москва, 1954

НИНА ЕМЕЛЬЯНОВА

Нина Александровна Емельянова, по специальности геолог, родилась в Москве в 1896 году. Ее поездки на Печору в 20-х годах дали ей хорошее знание природы и быта нашего Севера. К этому времени относятся первые ее рассказы. Затем, переехав в Сибирь, она работает в Красноярске, в краевом музее, и летом 1929 года едет на правый приток Енисея—Ману. Очерки «Заманщина», написанные по материалам экспедиции, были напечатаны в журнале «Сибирские огни» в 1931 году. Далее она работает геологом на Горно-Тажской станции Академии наук СССР в Дальневосточном крае и пишет повесть «В Уссурийской тайге», напечатанную в 1939 году в журнале «Красная новь». В 1944 году в Детиздате вышла ее книга «Колбат»—повесть о связной собаке—и напечатана повесть «Хирург». В годы Великой Отечественной войны и в последующие годы Н. А. Емельяновой написан ряд рассказов, вышедших отдельными сборниками: «Четыре весны» (1947 г.), «У Богатырского ключа» (1948 г.), «Рассказы» (1952 г.).

НОВАЯ ФИГУРА

Год назад Ефим Князев, учетчик машинно-тракторной станции настоял на том, чтобы старшего своего сына, Василия, послать учиться в фабрично-заводское училище. Для этого ему понадобилось долго уговаривать свою жену Катерину, женщину еще молодую, иногда любящую поспорить, но, в сущности, уступчивую. В этом же вопросе она неожиданно оказала мужу крепкое сопротивление.

От кого-то она слыхала, что в городе за учениками фабрично-заводских училищ нет никакого надзора; в будни они еще кое-как учатся, а в праздники сходятся с ребятами другого училища и бьются с ними стенка на стенку.

Когда, открыв широко голубые свои глаза, раздумываясь от волнения, Катерина выпалила все это мужу, он, человек обычно серьезный, поднял голову от стола, за которым ужинал, вернувшись с полей, и громко расхохотался.

— Вот всегда с тобой никакого разговора нет! — закричала Катерина. — То молчишь, чего-то обдумываешь, то смеешься надо мной. Что из того, что ты все читаешь да учишься, ум и у меня есть! Не пущу сына!

— Катя, — сказал Ефим, поднимаясь и подходя к жене; недопитый стакан молока остался стоять на столе, — ты послушай только...

— А чего я от тебя услышу? Сказал — хуже не придумаешь. И я сказала: не пущу!

Ефим обнял жену, но она оттолкнула его, села на лавку и заплакала.

— Все это ты напрасно, Катя. Послушай...

После нескольких неудачных попыток добиться примирения Ефим принес из чулана сушившийся там табачный лист нового урожая и стал резать его. Закурив, он посидел и снова начал:

— Катя, ведь мы с тобой оба виноваты, что Василька учился на одни тройки. Какое же это окончание седьмого

класса? Едва-едва вывез. Тут и твое материнское послабление и моя ошибка. Ему бы уроки учить, а он по ребятам ходит, курить начал... Учителям грубит, а они ему прощают да еще говорят мне: он парень хороший, это у него пройдет. Учиться тут он будет плохо, он все слабые стороны учителей понял. В городе его ремеслу научат, руки у него умнее головы.

— А что люди говорят? Слышал?

— Какие люди-то, Катя? Самые устарелые...

Но понемногу Ефим все же уговорил Катерину, и Василька поехал в большой сибирский город учиться.

...И вот теперь прошел год, и Ефим почти ничего не знает про сына, — как он там учился, о чем думал, какой стал; писал Василий редко. Самому Ефиму поехать в город не пришлось: зимой работал на лесозаготовках, весной дорога рано испортилась, потом начался сев. Катерина после Нового года ездила в город и вернулась совсем с другими мыслями; рассказывала, что Василька вырос. Кормят их там хорошо, сама пробовала. Мастер — такой чудак, все говорит пословицами: «Глаза бояться, руки делают», «За дело берись смело!». И видно, на ученье Василька понятливый. Мастер говорит, что он сильно толковый. «Не выпущу, — говорит, — из рук, пока человека из него не сделаю!»

— А как «стенка на стенку»? — спросил Ефим.

— Какая стенка? А, вот ты про что... — Катерина оборвала речь и скупно добавила: — Не слыхала там о стенках.

— Так я и ожидал! Кое-кто еще у нас всегда больше других знает! А о деревне что Василька говорил?

— А чего ему теперь деревня? — сказала жена. — Сам же сына в город направил, так теперь ему надо, чтобы сын еще деревню поминал. Василька теперь городской.

Эти слова надолго заняли внимание Ефима. Что жена переменяла отношение к учебе сына, его не удивляло: она всегда была недоверчива к новому. Когда в колхозе впервые посеяли тулунскую пшеницу, сняли прекрасный урожай, и Ефим смолот мешок полученного в счет трудодней зерна, Катя даже плакала: «Не надо этой тулунской, привези «гарнет!» А у «гарнет», которую всегда сеяли, зерно красноватое, мука темнее, и в печении хлеб из тулунской пшеницы оказался много белее и подъемнее. Тогда на трудодни Ефим взял и той и другой. Катерина, увидев мешки, всплеснула руками и закричала: «Почему ты одной тулунской не взял! Она же куда лучше, чем «гарнет!»

Но Ефим вовсе не думал, что, отправив сына на учебу в город, он оторвет его от деревни. Каким он увидит сына? В последнем письме Василий писал, что вступил в комсомол и скоро приедет домой на каникулы...

Василий приехал в тот день, когда его не ждали. Отец был на полях, мать — на ферме. Несмотря на ослепительно солнечный, жаркий день, Василий и его товарищ Степан шли по деревне в черных шинелях внакидку и черных же форменных фуражках. В руках они легко несли большие, почти пустые чемоданы, приобретенные в городе.

В июльский этот день почти все были на сенокосе, но все же в деревне заметили торжественно шагавших ребят. По деревне необычайно быстро разнеслось, что приехал Василька Князев и антонидин Степанка; шли они в хорошей одежде; рассмотрели даже желтые туфли Василия.

Когда Василий открыл калитку, во дворе никого не было. Он остановился и жадно осмотрел двор. Все так же лежали сани на бревнах, так же около крыльца была сложена длинная поленница сухих березовых дров. Как будто и не было зимы, не было длинных месяцев ученья в городе. Все, как было!

Из-за поленницы вышел маленький мальчик в синей, поло-сочками рубашонке и без всякого признака штанов. Он дошел до середины двора, мягко переступая босыми ножками, с любопытством вглядываясь в неизвестного человека, но близко подойти опасался.

Василька шагнул к нему и хотел поднять на руки, но мальчик не дался, отбежал и закричал.

«Эх, и Юрка меня не узнал! — с горечью подумал Василий. — Ну-ну, не трону тебя».

Он взошел на крыльцо, схватывая взглядом изрезанную им когда-то ступеньку, ряд крынок, кадушку с водой, коромысло. В избе он поставил на пол чемодан и остановился. За ним хлопнула дверь, и вбежал младший брат Васильки, Кеша.

— Ой, Василька приехал! — закричал он, подбежал и остановился против брата.

— А наши где? — не здороваясь, спросил Василий.

— На полях. Ой... — Кеша смотрел во все глаза.

— Что ойкаешь?

— Ты чего-то больше стал...

— Конечно, не меньше, а больше! — Василий похлопал брата по плечу, потом наклонился, и они поцеловались.

Первые дни все в доме чувствовали наступившую с приездом Василия полноту семьи. Мать, как остановилась в день

встречи на пороге с сияющими глазами, так с этим выражением и смотрела все время на сына, выросшего и возмужавшего за год. Ефиму же казалось, что сын в чем-то изменился. И то новое, что сразу бросалось в глаза, беспокоило отца.

Прежде всего Василька стал франтить. Брюки, купленные ему отцом, чтобы носить их по праздникам, Василька надевал каждый день. Он подходил к зеркалу несколько раз на день, тщательно причесывался, долго всматриваясь в свое круглое, совсем мальчишеское лицо, иногда снимал со стены пиджак отца, перед зеркалом накидывал его на плечи, но, повернувшись раза два, вешал пиджак обратно.

Иногда к нему заходил Степан, красивый, черноглазый, разговаривал все шуточками, но, соскучившись, скоро уходил. Василька тоже ходил к Степану, и младшая сестренка товарища, Верунька, с восторгом рассказывала Кеше, что Василька со Степаном курят городские папироски, раз даже выпивали без мамки и пели песни. Василька и по вечеркам стал ходить.

Правда, дома, перед людьми, Василька показывал себя серьезнее, чем был год тому назад. Когда в избу к ним заходили колхозники или трактористы, он садился в стороне и слушал, о чем говорят. Теперь, во время уборочной кампании, непременно заходила речь о хлебе. Хлеб был посеян вовремя, вызрел, и теперь, когда он почти был в руках, все боялись каждой помехи в уборке. Говорили о том, что хлеб лежит на токах открытый и от недавно прошедшего дождя пшеница греется, и о том, какие овсы прекрасные убрали вчера комбайном и что на сушилке опять нет порядка, как и в прошлом году.

Мать горячо вступала в беседу, ее голубые глаза синели и гневно сверкали.

— А на токах что делается! — всплескивала она руками. — Надо заводить крытые тока, а они сплошь открытые. Зерно отсыревает. Это — наше счастье, что сейчас сухо, а если бы перепали дождички, все зерно сгорело бы. Пшеницу-то подмоченную сгребали!

Ефим останавливал жену: хотя все это на самом деле было, но, сказанное вслух горячо и громко, казалось преувеличенным.

— Не останавливай, я правду говорю! — повышала она голос. — Пакулова да Щукина из начальников прогнать, вот дело и выправилось бы. А то как мужик, так норовит командовать, а женщинам судьба — работай да работай, крути веляку!

Ей возражали, что председатель дело еще наладит.

— Председателю некогда: он то женится, то разводится. В колхоз надо настоящих руководителей. А то собирают воскресник, идут те, кто постоянно ходит на работу, а кто не ходил, того и не вытащишь.

Сын сидел и, поглядывая на мать, слушал ее звонкий, возмущенный голос. Сам же он рассказывал все о городе: какие в нем чистые улицы и как удобно, что в городе не ходят на реку по воду, а открыл в доме кран—и бежит вода...

Ефим думал, что сын спросит его о том, как идет сенокос, и поможет на уборке, но Василий только спросил: «Накосили ли на корову?»—и больше не интересовался этим. Зато безвыходно пропадал на песках, купался и жарился на солнце, уходил гулять с ребятами старше себя и только раз сказал отцу, что хорошо было бы пойти порыбачить. Прежде он любил ходить вместе с отцом на реку, но этот месяц у Ефима был горячий—не до рыбалки было.

Отец расспрашивал Василия, как идет его учение и работа. Вместо ответа сын начал ему рассказывать о своем мастере Иване Евдокимовиче.

— ...Ну, нет, он совсем не старый,—ответил он на вопрос отца,—но все знает, на фрезерном станке работает—красиво смотреть. Что бы ни спросил его—объяснит. И всем интересуется: что ты читал и кто твой любимый герой? Мне сначала было удивительно: он должен нас труду учить, а он обо всяких посторонних вещах разговаривает.

— Посторонних?—спросил отец.

— Ну, конечно,—кивнул Василий,—я так считал.

— Что ж,—спросил отец,—тебе это не нравилось?

— Сначала не нравилось: он же старший. Но была у нас с ним встреча, и я понял, какой это человек.

Но о встрече с мастером в этот раз Василька не рассказал.

Как-то отец увидел у Васильки комсомольский билет.

— Как же ты в комсомол вступал, сынок?—спросил он.

— А мне,—ответил сын, глядя на книжечку,—и в этом Иван Евдокимыч помог разобраться. «Ты,—говорит,—в комсомол иди не для того только, чтобы тебя вели, а чтобы самому вести...» Вот он какой!

Однажды, недели через две после приезда, Василька не ночевал дома и вернулся только вечером другого дня.

— Где же ты был целый день?—спросила мать, ставя на стол большую сковороду с жареной рыбой.

Отец сам только приехал с полей, сегодня он ездил на велосипеде и устал; загорелое его лицо с резкими правиль-

ными чертами совсем почернело. Юрка сидел на окне и звонко смеялся: Кеша подкрадывался с улицы и хватал его за ногу. На лавке у окна сидела сестра матери, толстая веселая тетка Даша; мать позвала и ее к столу.

— Что же ты не сказался, сынок, куда идешь?

— Будет он тебе сказываться, — ответила тетя Даша, — у него такие дела пошли, о которых матери последними узнают.

— Ты еще молодой, сынок, — улыбулась мать, поняв намек сестры.

— Молодой, да ранний. Он там с комбайнерочкой переглядывался. А Сергей Трофимыч нынче около своего комбайна ночует, так и молодежь вся с ним... будто им тоже надо, в четыре часа вставши, комбайн проверять.

Тетка Даша и мать засмеялись чему-то далекому, милому, но хорошо им известному.

«Ну, у Трофимыча он только хорошее увидит и услышит», — подумал Ефим, представляя себе степенного, темноволосого комбайнера, который во время уборки всегда ночует в поле, встает до солнышка, осмотрит свою машину и потом работает «до закатимого». Молодежь его любит, все просятся к нему работать...

— А самих-то... самих... — смешливая тетка Даша едва перевела дух, — не забудись: ночка-то была звездная, теплая, все песни перепели.

Ефим подумал: «Рановато, рановато тебе за девчатами, сынок!», — но ничего не сказал: он и всегда-то был молчалив, а к такому вопросу и вовсе не знал, как приступиться.

Неожиданно, на другой день, Василий попросился псехать с отцом на поле. За ним сейчас же потянулся и Кеша, и даже Юрка сказал: «Хочу поле». Ефим подъехал на буланом гладком коне, запряженном в телегу.

— Кеша, быстро! Соломки подбрось! — И, когда Кеша положил солому на телегу, сказал: — Вы с Юркой останетесь дома.

Видя оживление отца и чувствуя его радость от того, что они едут вместе, Василька и сам оживился.

— Ох, как хорошо, — сказал он, глядя, как плотно и уверенно печатает буланы круглые следы на мягкой пыльной дороге, — давно я на коне не ездил! В городе все машины да машины. Я, конечно, и на машинах не ездил... — И Василька, как прежде, по-детски захохотал.

«Ага, проняло тебя!» — Ефим стегнул коня, и перед ними стали показываться широкие разливы поспевающих хлебов. — Погляди, погляди еще, подыши родимым воздухом!»

Поглядев и подышав, Василий сказал:

— Конечно, иногда хорошо и на лошади, но на каждый день нужна машина. У Федота Степаныча есть машина?

— Есть, — коротко ответил отец.

Они остановились в тракторной бригаде у опушки роши, и Ефим сразу пошел проверить, сколько у них в наличии горячего. Потом Ефим у будки разговаривал с другим комбайнером, Чекменевым, молодым и видным, как бывает «виден» боевой командир. Чекменев жаловался на возчиков, что они запаздывают. Василий смотрел, как к току подъехал на паре коней Сенька Пряхин, быстро своротил один мешок овса, высыпал его, потом другой, третий... На току светились золотом груды насыпанного непровеянного овса. Около веялки возились два человека; оба здоровенные, они перевернули ее и что-то долго налаживали в ней. На золотом сыпучем овсе сидели девушки, знакомые Васильки, и они сразу же стали звать его помогать.

— Помогать отдыхать, что ли? — спросил Василька свысока.

— Нет, он пойдет Тане помогать! — сказала одна из девушек. — Вон она, как старуха, согнулась. — И все громко зашмеялись.

Василька, не отвечая, подошел к другой веялке: стоя друг против друга и взявшись обе за одну ручку, ее крутили две девушки. Они раскраснелись, косынки, повязанные низко на лоб, намокли от пота.

— Ох, Василька, помоги! — сказала Таня, тоненькая, большеглазая; с ней Василька учился в школе.

— А ну, пустите обе, я один покручу, — ответил Василий; он стал крепко, словно врос в землю, и начал крутить.

— Подсыпай! — то и дело кричала Таня подруга.

Таня подсыпала, Василий крутил, танина подруга отгребала чистое зерно.

— Вот так-то и веем! — сказала Таня, махнув запыленными ресницами.

Она сняла с головы косынку, белый ее лоб с прилипшими кудрявыми волосами так светло покоился над темными бровями, отличаясь от загорелых щек и обожженного солнцем носа, что Василька как-то особенно хорошо подумал о Тане.

Но веялка не очень-то располагала к мыслям, крутить ее было нелегко, а сдаваться не хотелось, и Василька крутил да крутил.

Ефим давно увидел сына у веялки, заметил, что он сменил Таню, и одобрительно поглядывал в их сторону. Таня была

умница, прекрасно училась в школе, а когда вместе с ребятами помогала во время уборки, все спорилось в ее руках.

— Я поеду к Чекменеву, — сказал Ефим сыну, — а ты тут побудь.

— Нет, папа, я с вами... — Василька отошел от веялки и не сразу разогнул натруженные свои ладони. Он крикнул девушкам, чтобы не скучали, и побежал за отцом.

Ефим видел, как Василька подбегал к нему, складный, красивый парень, и видел еще, как две девушки у веялки, повернувшись, провожали его взглядами.

«Ну и шустрый же парень Василька!» — с одобрением подумал он.

Отец с сыном побывали у молодого комбайнера Чекменева, и у Ефима отлегло от сердца, когда он увидел, как сын всюду лазил, смотрел и расспрашивал Чекменева, а тот спокойно и весело отвечал ему, как большому.

Этот день доставил Ефиму много радости. Вечером, когда отдохнувший буланный легко бежал к дому и звезды густо высыпали на темном небе, он чувствовал, как его плеча касается плечо сына, и был спокоен: Василька казался ему прежним, город не изменил его любви к родным полям.

Ефим спросил:

— Ну как, сынок, хорошо на полях?

— Хорошо, отец, — ответил едва различимый в темноте Василий, и Ефим понял это «хорошо» как заложенную с детства любовь к полям, земле и труду на ней.

Но у Васильки в этом слове было свое: он вдруг уловил, что все это — начало собственной его жизни, такое светлое и ясное, что сердце замерло и все сказалось словом «хорошо».

Проходили дни каникул Василия один за другим; и сын то огорчал чем-либо отца, то радовал своим вниманием к деревенской жизни и снова огорчал, когда говорил, что он видит жизнь и работу в деревне по-другому, чем раньше, и многое в ней ему не нравится.

Каникулы Василия подходили к концу. Уже зашла однажды к Ефиму в избу Антонида, мать васильева товарища Степанки, и, посидев, спросила грустно:

— Когда думаете Васильку отправлять?

— Еще успеется, это — дело нетрудное, — сказал Ефим, — машины от сушилки одна за другой идут.

— Мой раньше поедет, чтобы добиться места в общежитии.

Катерина, всю зиму страдавшая, что Василька живет не у родных, а в общежитии, где, по ее мнению, его могли как-то и чем-то обидеть среди других ребят, узнала недавно, что, именно живя у родной тетки, Степанка «избаловался», стал выпивать и постоянно опаздывал на занятия. Она сказала:

— Конечно, надо добиваться общежития: там они все вместе, все на виду.

— То-то и есть, — вздохнула Антонида, — так уж пускай вместе и едут.

У Катерины навернулись на глаза слезы, и она их смахнула пальцами: скоро уедет и ее Василька! Ефим же понял, что Антонида не надеется на своего Степана и хочет, чтобы в дороге ему был надежный товарищ.

— Годами ваш Василька моложе, а умом старше, — подтвердила его мысль Антонида.

«Так-то оно, может, и так, — подумал Ефим, — а я-то и не успел разглядеть, какой стал Василька: быстро как время пробежало! И на рыбалку с ним не сходил».

Василька сидел в горнице и, обняв Юрку, показывал ему картинки — разных домашних животных. Юрка водил пальчиком и называл: «Это козлик».

— Ну что вы, папа, зачем я раньше поеду? — ответил Василька отцу. — Мое же место в общежитии от меня не уйдет. Вот не сходить ли нам вместе на рыбалку?

— Непременно сходим, — обрадовался Ефим, — в воскресенье и пойдем.

В субботу Ефим, не говоря истинной причины сборища — желая проводить сына, — позвал соседей. Катерина нажарила, наварила, напекла всего, что умела.

Собрались поздно: после трудового дня приходили не все разом, а по двое, по трое. И самого Ефима долго не было.

Когда он вместе с комбайнером Чекменевым вошел в избу, на лавках тесно сидели принарядившиеся женщины. Ваня Чекменев победным своим взглядом обвел собравшихся, и сейчас же молодые женские лица склонились друг к другу, чернобровая Прасковья Маркина зашептала с соседкой и кто-то засмеялся. Ваня прошел к столу особенной, пружинящей походкой, протянул Васильке руку, сказал:

— Здорово, Василька.

Это было не очень обычно: Чекменев не всегда здоровался первым и со старшими. Все поняли, что он хотел сделать уважение самому Ефиму.

Стали усаживаться за стол. Ефим, наливая стаканы, погля-

дывал на дверь и дотянул-таки до того момента, когда в дверях показалось круглое лицо Федота Степаныча, председателя колхоза. За ним, высокий и худощавый, с пристальным взглядом, вошел новый председатель сельсовета товарищ Гончаров, недавно присланный из района. Это было неожиданно: Ефим сегодня встретил и пригласил его, но не ожидал; он встал, освобождая свое место.

— Поспели во-время,—сказал Федот Степаныч, садясь и окидывая взглядом стол.

— Тебе бы так на поле поспевать! — сказала Катерина тихо, но так, что сестра ее, тетка Даша, и ближайшие соседки услышали и засмеялись.

— Федот Степаныч нынче из района вернулся, у него теперь задора в характере прибавилось,—вкрадчиво подхватила тетка Даша, и, как всегда, смех вызвали не слова ее, а выражение лица, с которым она говорила.

Ефим, нахмурившись, взглянул на жену, и смех в том конце на мгновение затих.

— И Кузьмичу в районе за подмоченный хлеб спину подсушили,—басом сказал Иван Пакулов, которого женщины недолюбливали за привычку командовать ими.

— Удивляюсь на мужиков,—бросила ему вызов Катерина,—на других говорят, а сами чего смотрели?

— Эта режет, ни на кого не поглядит! — одобрил большой, неторопливый дядя Прокопий.—Наши порядочки только задень...—и рассказал, как он в правлении три раза выписывал себе соли по несколько килограммов, а сам не проверял, что ему пишут; глядит, на него за лето два центнера соли записали!

Кругом захохотали.

Поднялись стаканы, вилки протянулись к тарелкам. Ефим углою глаза увидел, как Василька выпил до дна налитые ему полстакана вина, покраснел, но неторопливо стал закусывать. «Вот уже и сын стал взрослый»,—подумал Ефим.

Вторые полстакана Василька отодвинул, сказал: «Мне довольно»,—и Ефим увидел, как одобрительно посмотрел на Васильку Гончаров. И вот уже раскраснелись лица, платочки появились у женских пылающих щек. Обмахиваясь, молодая и веселая Прасковья Маркина, словно случайно, задела плечо Чекменева. Он взглянул на нее, она встала, перешагнула через скамейку, вышла на середину избы и запела, подплывая к столу и зовя:

Выходи, милнечек,
Ваня Чекменечек...

И сейчас же счетовод Карлухин достал из-за спины стоявшую на окне гармонику.

Ваня встал и пошел по кругу, вольно неся свое ловкое тело, отбивая сапогами какую-то немислимо частую, но ритмическую дробь.

Ваня переплясал Прасковью и поклонился Катерине.

Быстро поправив шелковый, алыми розанами платок на голове, сжав губы, словно готовясь к трудной работе, Катерина подняла зажатый в руке платочек и пошла к Ване, напряженно неся голову. И вдруг улыбнулась задумчиво и просто. Улыбка сразу разомкнула губы, напряженное выражение лица исчезло, согнутая судорожно рука разжалась, и платочек затрепетал над ее головой. И уже гордостью озарилось лицо.

«Вот оно мое, все тут! — говорило теперь оно. — Старший сын мой едет в город, он учится, а все вы, мои соседи, с которыми я живу когда и дружно, а когда и нет, все вы — моя семья. И вы не осудите меня за радость».

— Ну как, Ефим, сына провожаешь? — спросил Федот Степаныч, глядя на розового, немного подвыпившего парня.

— Провожая, Федот, пора, — ответил Ефим.

— Что же, он теперь в городе пожил, в деревне ему, поди, не нравится.

— Почему не нравится? — пожал плечами Василий, глядя через стол на председателя колхоза. — Здесь же я дома.

— Дома! Однако же уехал из дома.

— Как вы судите, дядя Федот, не насовсем же я уехал.

Федот Степаныч сказал с усмешкой:

— Что же ты, в деревню приедешь? На полях работа трудная...

— Работа от человека зависит, — сказал Чекменев, подходя и усаживаясь за стол.

— Трудная, трудная... — резко ответил Василий. — А вот у нас мастер Иван Евдокимыч говорит: работа до тех пор трудная, пока ты не задумаешься, как ее облегчить. А задумаешься — сделаешь!

— Правильно говоришь, Василий Ефимыч, — раздался голос дяди Прокопия, и Василий посмотрел на него, не зная за столом никакого Василия Ефимыча, и вдруг покраснел.

— Чего ж, — насмешливо прищурившись и дожевывая кусок пирога, выговорил председатель колхоза, — вот ты бы и взялся.

— Я не отказываюсь! — звонко сказал Василий. — И возьмусь, когда кончу училище.

— Ну, — добродушно сказал Федот Степаныч, как заслон, ставя перед собой широкую ладонь. — Посмотрим еще, какой из тебя помощник получится.

— Ну что ж, дядя Федот, посмотрим. Я год тут не был, приехал, гляжу, ничего у нас не изменилось. А когда я вернусь, ты уезжай на год, приедешь — посмотришь, все ли останется таким, как было.

Одобрительные голоса и смех покрыли его слова. Ефим, смутившийся было от выступления Васильки, увидел, что сын пришелся по душе гостям.

— Вот тебе и Василька! — сказала тетка Даша. — Ходил, франтил, с девушками песни пел, а умное слово сказал.

— А чем он не взрослый, Федот Степаныч? — сказал дядя Прокопий. — Я в его годы, помню, в ту германскую, за отца на сходку ходил. И говорить там приходилось: «Что же это, мужики, наша семья меньше против дяди Игната, а поскотины городить на нас больше кладете?» А у самого голосишко тонкий.

Товарищ Гончаров подвинулся и наклонился через стол к Василию:

— А я тебя, парень, увидел, как ты еще с приятелем в деревню шагал: что это, думаю, за новая фигура — в черной шинели в такую жару! Ну, учись, учись, Василька!

За столом начался свой — взрослый — разговор, кто помоложе, затянул песню, а Васильке стало скучно. Среди взрослых он был один: девушек и парней не было обычая приглашать на такие вечера.

Он пересел поближе к двери и вскоре вышел из избы. Луна высоко стояла в небе, и в ее свете вся улица была отчетливо видна. Из открытого окна в чистый теплый воздух лилась песня:

Не ругай, мама, за милого,
Подумай по себе...

Василий пошел к дому тетки Даши, зная, что сейчас, когда она сидит у них, к Варе, ее дочке, наверное, зашли ребята. На крыльце было темно. Он подошел вплотную и услышал шепот: «Василек!» Две девушки быстро вскочили со ступенек.

— Кто это? — крикнул Василий.

— Угадай! — И дверь в избу захлопнулась. Василий вошел за девушками.

В избе были только Варя и танина подружка, которую Василий видел на току. Они чему-то смеялись, с ними сидели Федька Пономарев и Славка Рагозин. Васильке показалось, что сейчас на крыльце была Таня.

— Одну-то я знаю, а вот где другая?—сказал он, угадывая, что Таня должна быть где-то близко, и осматриваясь.

— Ты почему запоздал?—спросил Федька.—Мы уж тебя ждали, ждали.

— Неудобно было раньше уйти.

— Тебя, что ли, к взрослым уже причислили?

— Нет, не то, а там председатель сельсовета новый пришел...

— Так тебе-то что?—насмешливо сказал Славка.

Он был всегда такой чистенький, любил поддеть товарища. Василька не ответил.

— От нас все тарелки к вам унесли,—сказала Варя,—и вилки тоже.

В это время Василий увидел пригнувшуюся за столом девушку: он никак не мог ошибиться, кто это.

— Таня,—сказал он,—выходи, я тебя нашел.

Таня подняла над столом голову в спутанных кудрях, пригладила рукой волосы и села прямо. Глаза ее блестели.

Василька уселся рядом с Таней и, хотя говорил с Федькой, сидевшим напротив, чувствовал, когда она взглядывала на него, и сейчас же поворачивала голову в ее сторону.

— Магнит!—захохотал Славка.

Варя вытащила растрепанную колоду карт и сдала по шесть листиков в «подкидного». Но играть в карты никому не хотелось. Таня взяла червонную шестерку и повертела в пальчиках.

— Дорога!—сказала она.—Это Васильке в Томск.

— Так ты в понедельник уезжаешь?—спросил Федька.

Понедельник, когда Василька собирался ехать, был послезавтра.

— Во вторник!—сказал Василька, взглядывая на Таню.

— Пойдемте лучше гулять,—предложила танина подруга.

— Пошли.

И все, взявшись за руки, пошли по длинной, освещенной луной улице села. Таня шла между Варей и Василькой.

— Небось, тебе не хочется уезжать!—Федька считал, что отдыхать всегда лучше, чем учиться.

— Нет, мне очень хочется.

— Значит, скорее хочешь уехать от нас?—спросила Таня.—
Надоело в деревне...

— Мне здесь никогда не надоест. Кончу и приеду сюда
работать.

— Тут и заводов-то нет,—фыркнула танина подруга,—а ты
будешь рабочим.

— Заводов нет, а эмтэс?

— Так кем же ты приедешь?

— Электромехаником, вот кем.

— Ты же учился едва-едва...—свистнул Славка.

— А вот посмотришь, мы еще будем вместе учиться!—Ва-
силька сжал маленькую руку Тани: это он сказал не ребятам,
а ей одной.

— Запоем?—сказала она.

Когда Василька вернулся домой, гости в избе еще беседо-
вали. Он постоял, прежде чем войти в комнату, чувствуя в
себе сильный и полный поток жизни. Двор, освещенный лу-
ной, стал как будто шире, чище, изгородь из белоствольных
березок светилась, как серебряная; стоял неистовый звон ка-
ких-то кузнечиков или сверчков,—кто их знает, чего они так
раззвенелись сегодня?

Наконец-то отец с сыном выбрали время для рыбалки. Ти-
хий солнечный день стоит над успокоенной рекой. Они сидят
в лодке, медленно сплывающей по родимой Черемшанке.

Ефим совершенно беззвучно опускает весло в воду, и, по-
винуясь тихим его движениям, лодка подходит то к одной та-
лине, то к другой. Василька хватается за талину, и лодка
останавливается. Отец забрасывает удочку и вытягивает боль-
шого окуня.

Над лодкой нагнулась ива; кривой ее ствол с нижней сто-
роны весь облеплен сухим илом. Ил легко осыпается.

— Вот до каких пор вода стояла,—показывает Василька.

— Не так большая вода была нынче. Не хватило влаги
на полях. Урожай собрали ниже, чем ожидали.

Необыкновенно уютная речка Черемшанка обмелела к осе-
ни; тихое ее течение заметно по медленно уплывающему от
лодки листку. Сегодня, в безветренный день, вода гладкая, и
лишь посередине плеса косяком серебрится на солнце мелкая
рябь. Серые, сухие осины, желтеющий ивняк, кусты подсыхаю-
щей смородины отражаются в воде.

Василий смотрит и думает, что с водой все в природе ста-
новится красивее и если нарисовать на картине берег Черем-

шанки с этой узенькой тропинкой и шиповником, а воду снизу отрезать, то без этого ясного повторения картины выйдет совсем не то. А вот вода течет, прозрачная, бесцветная, но ловит и отражает все цвета на свете, поит траву и землю и все оживляет вокруг.

Отец наконец решается спросить:

— Ну, как же ты, Василька, думаешь дальше жить? Какие у тебя мысли на будущее?

— Думал, папа, пока на механика выучиться...

— На механика?—задумывается отец.—Что же, хорошее дело...

Его загорелое лицо как будто худеет на глазах у сына. Продольные морщины у рта углубляются. Глаза серьезно всматриваются во что-то видимое ему за плечами сына: пожалуй, пройдет его дорога далеко от родной деревни. Ну что ж, пусть будет ему удача на любой дороге.

Василька видит, что отец думает сейчас о нем, и говорит доверчиво:

— У меня, папа, сначала работа вовсе не ладилась. Стали уж говорить: «Не будет толку, парень недисциплинированный». А мне казалось: разве это дело—дают вручную плашку обрубить и опилить ее под угольник? Это же все машина может сделать! Иван Евдокимыч раз как-то подошел ко мне и спрашивает: «Ты, Василий, скажи прямо: работать не хочешь, или у тебя не ладится?» «А вам чего?—грубо так я ему ответил.—Ну... не ладится». «Помочь тебе хочу: и у меня, было время, тоже не ладилось. Ты пойми, что эта работа не зря тебе дается, а чтобы развить глаз и руку. Какой ты слесарь будешь, если инструмента себе сделать не сможешь? Не говоря уж—механик!» Подвел меня к верстаку и показал, как надо делать. А уж тут, дома,—глаза Васильки заблестели,—я раз Чекменеву помогал в ремонте мотора, он меня похвалил за аккуратность в работе. Ну и знает он машину — назубок!

— Чекменев—первый комбайнер... Не хуже Трофимыча.

— В моторе очень электропроводка интересна. Чекменев говорит: учись на электромеханика.

— Ну, тут учеба нужна повыше,—говорит Ефим,—а ты только семилетку кончил, мало это.

— У нас в училище,—говорит Василька серьезно,—можно так: учишься и рядом с учебой подготавливаешься за десятилетку.

— Вот как?—Отец догадывается, что Василька не раз думал об учебе, ему нравится, что сын не стал звонить о своих

планах.—Смотри, сынок, трудно будет. Но если решил, твердо этого дела держись.

— У меня, папа, все бы ничего, да с правописанием не ладится...

— Ничего, Василька, одолеешь,—уверенно говорит отец.

Он смотрит на сына, на прямой его, почти не загоревший лоб, хорошие серые задумчивые глаза.

— Ну что ж,—говорит отец,—выбирай. Выбирай себе путь в жизни.

На тихой речке раздается тяжелый всплеск: перевернулась большая рыба. Широкими кругами колеблется вода, рябь расходитя к берегу и покачивает сперва отражения высоких деревьев, за ними покачиваются отраженные ветви тальника и густых смородиновых кустов уже под самым берегом.

Отец видит, как смотрят глаза сына на этот любимый обоими мир, на высокое небо над ними, в котором трубят уже, пролетая, журавли. Они улетают и всегда возвращаются на родимые места.

Снова слышится глухой всплеск уже далеко от лодки. И, стараясь, чтобы Василий не заметил, как печалит отца мысль о расставании с ним, Ефим говорит:

— Щученция! Огромная рыбина!

Голос у Ефима довольный и радостный.

1952.



ЛЮБОВЬ

Тимофей Иванович и его жена решили усыновить ребенка. Не было никакого сомнения в том, что это надо было сделать непременно и возможно скорее. Когда Тимофей Иванович вернулся с фронта и вместе с Татьяной Сергеевной вошел в квартиру, где не был почти четыре года, он в первый раз за долгую совместную жизнь почувствовал холодок и пустоту в больших своих светлых комнатах.

— Тебе не кажется, Танюша, — сказал он, — что в землянке бывает уютнее? — И, услышав протестующий голос жены, добавил неудачно: — Сюда бы ребятенка, чтобы бегал и шумел...

— Зачем ты говоришь об этом? — спросила она, глядя перед собой в одну точку.

Муж знал, что сейчас она думает о ребенке, их сыне, который умер задолго до войны. Больше детей у них не было.

— Виноват! — сказал большой, плечистый человек; он обнял жену и приподнял ее голову. — Не горюй, мы усыновим ребенка, и все будет хорошо.

После войны характеры людей во многом изменились: в частности, Тимофей Иванович научился смелее, чем это было до войны, принимать решения по трудным вопросам, касающимся жизни своей и жизни товарищей, и выполнять их, не отступая. И сейчас он не утешал жену, а принял решение, которое именно касалось жизни их обоих. Татьяна Сергеевна, плача, призналась, что давно думала взять ребенка, но боялась, что муж не полюбит чужого...

— Чужого? Что ты! Именно наши с тобой дети сейчас остались сиротами после войны. Дети наших товарищей, погибших за Родину. Вот поедем в детский дом, и ты увидишь их...

Итак, Тимофею Ивановичу оставалось лишь привести в исполнение принятое им и подтвержденное женой решение. Но тут неожиданно обнаружился конфликт, как будто

и незначительный, но это только так казалось на первый взгляд.

Тимофею Ивановичу хотелось иметь сына, а жена его мечтала о дочери...

Голубоглазая и легонькая, с большим голубым бантом в светлых волосах, она так и стояла в глазах Татьяны Сергеевны и откуда-то издали протягивала к ней руки. Эта замечательная девочка-картинка носилась перед ней легким видением; в воображении Татьяны Сергеевны она медленно повертывала головку, улыбалась, садилась за стол; на нее можно было любоваться с утра до вечера.

Будущего своего сына Тимофей Иванович видел неугомонным, веселым мальчишкой, круглая щека запачкана, на носу царапина. Тимофей Иванович кричит ему: «Эй, башибузок ты этакий!» И мальчик кидается ему на шею...

...Чтобы понравиться будущей дочери, Татьяна Сергеевна надела свое светлосерое платье—в нем ее свежее круглое лицо казалось красивее и моложе,—и они вместе с Тимофеем Ивановичем поехали в детский дом. Детский дом был расположен под Москвой—полчаса на электричке. Всю дорогу Татьяна Сергеевна говорила о том, какую кроватку, какое одеяльце и каких кукол она купит для девочки, как привезет ее к себе домой, оденет, как куколку, и Тимофей Иванович начинал чувствовать странное, все растущее беспокойство.

Не то чтобы он считал необходимым отстаивать свою уверенность в том, что им с женой нужен именно шумный, веселый мальчуган, а не девочка-картинка — в конце концов всякий ребенок хорош, и не так уж важно, девочка это будет или мальчик, он готов полюбить и дочку... Но вопрос о выборе ребенка уходил в какие-то глубины человеческих чувств, только за эти трудные и великие годы изведенные Тимофеем Ивановичем. Сам он принес с войны гневное и тяжелое ощущение непоправимости потерь, какие он наблюдал на фронтовых дорогах чуть не ежедневно: матери, потерявшие детей, дети, потерявшие матерей,—это не могло быть искуплено ничем.

Он, большой, сильный человек, впервые испытал невероятную щемящую жалость, увидев маленького—не более двух лет—ребенка, закутанного в солдатский ватник, спасенного накануне на поле боя одним из его разведчиков. То, как этот ребенок, сияя глубоко запавшими глазами, смотрел на простого деревянного петушка, вырезанного для него бойцом Савельевым, и несмело улыбался игрушке после страшных

дней, проведенных в сырой канаве около убитой матери, перевернуло душу Тимофея Ивановича.

— Накормили?—спросил он отрывисто, не обращаясь ни к одному из бойцов, стоявших около ребенка.

Он слышал, как собственное его сердце—жена называла его «невозмутимым»—билось частыми и тяжелыми ударами.

— А как же, товарищ капитан!—ответил веселый молодой боец Савельев, замечательный разведчик, надежный товарищ.—Только кушать ему мы даем помаленьку, не досыта, а то как бы вреда не было. Оголодал он, почти без дыхания его подняли.

— Куда же мы его денем?—спросил Тимофей Иванович, думая, нельзя ли отправить ребенка к жене, и понимая, что это невозможно.

Но он знал, что ничем и никогда не изгладится из его памяти просиявший взгляд детских глаз, худенькая голая ручка в складках солдатской ватной куртки и ощущение большого человеческого счастья от этого доверчивого детского взгляда. Ему не пришло в голову слово «любовь», которое в своей жизни Тимофей Иванович употреблял крайне редко, но это была именно любовь. И, как настоящая любовь, она потребовала действия.

— Савельев,—сказал он,—вечером мы идем по заданию дальше. Времени у тебя восемь часов. Возьмешь ребенка и, как бы тебе ни было трудно и сколько бы времени это ни заняло, обеспечишь его доставку в тыл. Даже если бы пришлось догонять нас...

— Есть обеспечить отправку в тыл!—ответил Савельев и побежал собираться.

Савельев вернулся к вечеру и доложил, что сдал малыша сестре Марковой в медсанбате и уже при нем его вымыли, переодели и отправили с этой сестрой в кабине шофера на станцию, где стоял санитарный поезд. Все было сделано правильно, как надо.

Так на руках у лучшего его разведчика ушел из жизни Тимофей Ивановича ребенок, но и уйдя, остался в его памяти.

Эту детскую улыбку он вспоминал, когда видел убитых детей, рыдающих матерей. Тогда Тимофея Ивановича охватывал неистовый гнев. Ему казалось, он только потому может прямо и твердо ходить по земле, что в сердце его поместился рядом возникшие в нем чувство любви и жалости к спасенному ребенку и ненависть к тем, кто посягнул на жизнь и счастье детей его страны. Тимофей Иванович воевал

теперь с упорной расчетливостью: он не мог любить, не защищая в то же время любимое.

Сейчас, глядя на возбужденное, озаренное мечтательной улыбкой лицо жены, Тимофей Иванович думал, что какие-то душевные ее качества неизвестны ему, в чем-то он ее не знает. Ему теперь казалось опасным ехать так «выбирать» ребенка, но он не мог придумать, как бы это можно было сделать правильнее. Его беспокоил навязчиво-прелестный образ будущей дочери и почему-то стеснял его, и главным в этом беспокойстве было то, что девочка в воображении его жены была лишена милых и своевольных детских черт.

— Мы ей непременно купим пижаму,— говорила жена, глядя в окно на проносящиеся дачи, деревья, кусты.— Знаешь, как идет пижама девочкам? Совсем маленькие женщины...

Вот-вот, этого-то он и не хотел! Он мечтал вернуть детство хотя бы одному из тех ребят, у которых было отнято все, но и вернуть он хотел все. Он хотел, чтобы его ребенок получил веселое, счастливое детство, а Татьяна Сергеевна как будто затевала совсем другое... Он угадывал в этом стремлении жены иметь рядом с собою красивую, улыбающуюся девочку-игрушку, отсутствие любви к ребенку, как он есть, к самому ребенку, одному из тех мальчиков и девочек, которых, всех вместе, не мог не любить Тимофей Иванович. Откуда это взялось у нее?

Он подумал, что Татьяна была хорошей женой ему. Умная, сдержанная, она окружала его заботами с первых лет жизни вместе, когда он еще не был инженером и работал на Магнитогорском, недавно построенном заводе. А потом он много учился, и она помогала ему. У нее было свое дело—она хорошо знала языки и работала переводчицей. Жизнь с нею была так надежно слажена, что он не мог отделить жену от себя.

И вот теперь она хотела удобного для себя ребенка, и он боялся признать в этом выборе не порыв, а расчет... Это было страшно. Ребенок для украшения их жизни? Нет, нет, с этим надо бороться.

Но Тимофей Иванович так и не успел придумать, как он будет бороться. Они шли от станции по песчаной дорожке среди сосен; на дорожке валялись раскрывшиеся сосновые шишки. Он начал неумело:

— Мать, бывало, посылала нас собирать шишки, чтобы согреть самовар,—Тимофей Иванович поднял жесткую темную шишку.—А нас было четверо братьев. Как затеем беготню да собранными шишками давай друг в друга кидать...

— Мальчишки всегда озорные,—ответила Татьяна Сергеевна.

И разговор умолк.

На хорошем, веселом месте, в трех бревенчатых, окрашенных зеленой краской двухэтажных домах был расположен Детский дом имени Надежды Константиновны Крупской. Высокие сосны, уйдя широкими кронами в голубое июльское небо, окружали дом и тихо покачивались, будто переговаривались о том, что видно им с большой их высоты.

— Мы сейчас пойдем к детям,—сказала заведующая детским домом, пожилая женщина с выразительными темными глазами,—только я попрошу вас быть сдержаннее, не говорить о внешности детей при них.

Объясняя причину приезда, Татьяна Сергеевна сказала, что спит и видит красавицу-дочку.

— Простите, что я об этом напоминаю,—заметила заведующая,—но я внушаю всегда своим работникам, что в ребенке они должны видеть человека, страдавшего в самые ясные свои годы и часто легко ранимого. У нас все дети — сироты, привезенные с полей войны. Видели бы вы, какими они попали к нам, большинство из них! У нас был один мальчик, который как бы оцепенел: он не говорил и, как мы думали сначала, не слышал, когда к нему обращались. Он ушел в себя, и что там было в его детской душе, мы, конечно, не могли себе представить и только страдали вместе с ним.

— И... и неужели такой ребенок смог вернуться к жизни?—запинаясь, спросила Татьяна Сергеевна.

— Вот, послушайте. Мы старались ничем не навязывать ему себя, не отяжелять лишними заботами. Он постоянно сидел в стороне, одиноко и печально. Часто кто-нибудь из нас подходил, садился около него и занимался самой простой работой—в детском доме всегда найдется мелкая женская работа: зашить, подштопать... Потом Людмила Степановна, врач нашего детского дома, попросила нас понаблюдать за его сном. Воспитательница заметила, что по утрам личико у него спокойное, как будто обычное напряжение отпускает его, он сладко спит. Однажды мальчик проснулся от взгляда воспитательницы; она отступила в испуге, но мальчик повел за ней глазами, он искал ее. Тогда, поговорив с Людмилой Степановной, она стала каждый день ждать его пробуждения, и, как только он замечал ее, его взгляд прояснялся. Она и одевала его и вела завтракать сама. Постепенно он стал возвращаться

к жизни, и первое слово сказал Галине Ильиничне, своей воспитательнице...

— Какое же это было слово?—спросил Тимофей Иванович; он слушал с напряженным вниманием.

— «Мама!» А за первым словом он вспомнил и другие. Он и сейчас еще немного замкнут, сосредоточен, но это уже не страшно. Он теперь улыбается... Так помните, товарищи, для нас нет красивых и некрасивых детей. Как и для детей красоты все, кого они полюбили.

«Вот и ответ Татьяне!—подумал Тимофей Иванович.— Умница и прекрасный воспитатель!..»

Эта спокойная, тщательно причесанная женщина с белым воротничком на темном платье все понимала, и это было очень хорошо, что она так прямо говорит с ними. Она стояла на страже своих детей, как боец, и это неуловимо обращало мысли Тимофея Ивановича к началу борьбы за человека почти тридцать лет тому назад. Даже кабинет ее с фотографией Ленина и Крупской в молодости, под которой была целая выставка детских рисунков, напоминал об этом.

Улыбнувшись, она продолжала:

— У нас во всех группах, где работала эта воспитательница, самую красивую куклу дети всегда называют «Галина Ильинична» — по ее имени. Дети ее обожают, хотя красота настоящей Галины Ильиничны не бросается в глаза, черты ее, пожалуй, неправильны, она бледна...

Они стояли уже в передней перед большой дверью. Заведующая, не окончив фразы, отворила дверь, приглашая войти. Но Тимофей Иванович удержал жену и пропустил вперед заведующую. В комнате было много детей четырех—пятiletнего возраста, они играли, но в какую игру, Тимофей Иванович сразу не уловил. Разные по цвету и фасону платьица девочек говорили о желании сделать детский дом похожим на семью. У двух девочек длинные волосы были заплетены в косички.

В это время дети увидели в дверях заведующую и гостей; они побежали к ним, кивая головками и крича:

— Здравствуйте, здравствуйте, Мария Кирилловна!..

— Вот, дети, познакомьтесь, я привела к вам гостей,— сказала она, обнимая малышей.

Маленькая черноглазая девочка подбежала к Татьяне Сергеевне и, взяв ее за руку, серьезно сказала:

— Садитесь на стульчик. Вася, пододвинь сюда стульчики.

Когда Тимофей Иванович, едва уместившись на малень-

ком стульчике, взглянул на окруживших его детей, все лица их оказались вровень с его лицом. Внимательные детские глаза, доверчиво смотрящие на большого, совсем не молодого, усатого человека, напомнили ему сияющий взгляд ребенка, спасенного на поле боя, и он невольно поискал, нет ли здесь похожего. Но все взгляды были и похожи и не похожи: веселые, любознательные, озорные, ласковые... И только у одного мальчугана он увидел печальные, спокойные, не по-детски смотрящие на нового человека глаза. Мария Кирилловна положила руку на плечо мальчика, и Тимофей Иванович понял, что это и есть тот самый ребенок...

Круглолицый мальчик в это время принес книгу с картинками, положил ее на столик перед Татьяной Сергеевной и сказал:

— Почитайте!

Другой, очень маленький и весь какой-то плотный — плечики у него были широкие, — подтащил за голову серую в яблоках лошадь с мочальным хвостом и положил ее на колени Тимофею Ивановичу.

— Вот какая лошадка! — сказал Тимофей Иванович, глядя по головке мальчика и вспоминая, что сам в раннем детстве любовался на таких, недоступных ему коней на деревенской ярмарке. — Тебя как зовут?

— Петя Фетисов, — ответил мальчик и продолжал смотреть на гостя. — Пойдемте с нами гулять, хорошо?

— Пойдем, — сказал Тимофей Иванович, — если нам с тобой позволят.

— Мы любим, когда у нас бывают гости, — сказала Мария Кирилловна. — Дети должны шире знакомиться с людьми.

Через час детей позвали обедать, и Татьяна Сергеевна подошла к мужу. Он пригладил растрепавшиеся волосы: только что он бегал по саду и возил в «машине» попеременно самых маленьких из ребят.

— Ну, — сказал он, беря ее за руку, — как славно! Кого бы ты ни выбрала, мне, ей богу, все хороши. Одного возьмем, а к остальным будем в гости ездить. Кто тебе больше понравился?

— Ужасно! — сказала она. — Ты заметил того мальчика со шрамами на груди? Так неловко эта руководительница растегнула ему рубашечку, хотела показать мне, а он закрылся... Знаешь его историю? Его вытащили из горящей избы; совсем был маленький и так страшно обожжен! А тот, у которого черная повязка на глазу? Ведь глаза у него совсем

нет... А девочка, раненная осколком мины... Это все жертвы фашизма. И врач у детей хороший, она сама пережила осаду Ленинграда.

Он видел, что приезд сюда потряс жену.

— Но что здесь особенное, чего я не ожидала,—прибавила она,—это отношение воспитательниц к детям. Я понимаю, что это—дело рук Марии Кирилловны, но ведь дети на самом деле любят воспитательниц, а они—детей. Я наблюдала за Галиной Ильиничной; у нее чуткость безграничная. Сколько надо любви к детям, ясности душевной, чтобы суметь вырвать ребенка из страшного оцепенения!

Заведующая поманила Татьяну Сергеевну и ее мужа к себе и сказала тихо:

— Вот сейчас старшая группа пройдет мимо. Вы увидите самую красивую у нас девочку. Хорошая девочка,—впрочем, плохих детей я не знаю—и, как все у нас, круглая сирота... Зовут ее Людмила. Я позову ее, но категорически прошу: не давайте ей хотя бы в малейшей степени понять, что думаете удочерить ее. Есть много причин, почему мы так бережно, так осторожно подходим к усыновлению ребенка... Прежде всего мы не можем травмировать других детей, которые не привлекли вашего сердца, не можем наводить их на мысль, что та девочка лучше и потому ее взяли. Если происходит усыновление, мы говорим другим детям, что у их товарища нашлись родители. А второе, я должна узнать вас больше, прежде чем отдать вам ребенка.

— Но ведь муж рассказал вам, кто мы, как живем...—немного досадливо сказала Татьяна Сергеевна.—Он член партии, вернулся на свой завод после войны. Я переводчица...

— Да, да, это я уже знаю,—усмехнулась Мария Кирилловна,—но у меня правило—месяц, два испытательного срока будущим родителям. Поверьте мне, что ребенку лучше жить в большой дружной семье детского дома, чем в маленькой семье без настоящей материнской любви.

«Прямо как в воду глядит,—подумал Тимофей Иванович.—Молодчина!»

— Я считаю это правильным,—сказал он.—Пусть и жена и я приобретем ваше доверие, пусть мы войдем в жизнь всех детей и постепенно найдем среди них своего...

По дорожке, посыпанной песком, дети шли парами, друг за другом. Татьяна Сергеевна сразу увидела девочку,—точнее, воплощение своей мечты. Голубоглазая, высоконожкая, с длин-

ными прямыми ножками, она шла, легко и весело неся круглую светлую головку.

— Тимофей!—только и сказала Татьяна Сергеевна, сжимая его руку.—Посмотри!

— Ну что же!—ответил он.—Смотри сама, я тебе сказал, что мне все хороши.

Прошло месяца два со дня первого посещения детского дома. Татьяну Сергеевну можно было уже назвать частым гостем ребят, но окончательного разговора между нею и мужем еще не произошло. Она возвращалась из детского дома оживленная и почти всегда рассказывала историю нового ребенка, которого она узнала ближе. Она знала, кого из детей этой осенью передадут в школу, у кого какие способности. Мария Кирилловна просила ее то позвонить на фабрику, где шефы—ткачихи—дарили детям материал на костюмы и хотели знать, какой будет лучше, то зайти в книжный магазин и подобрать необходимые детские книжки, то в магазине на Кузнецком достать ноты новой детской песни.

Вокруг этого детского дома с начала его существования образовался целый круг людей, которых, в сущности, никто не звал, не приглашал заехать и посмотреть. Но на разных предприятиях Москвы люди сами хотели знать, как живут дети, подобранные с опустошенных полей войны: в детский дом приезжали женщины и мужчины, обходили двор, сад, комнаты и спальни, задумывались, чем еще можно улучшить жизнь детей. Может быть, сделать новые одеяльца или достать краски для всенного ремонта? И, рассмотрев грузовую машину детского дома, они предлагали отправить ее к ним на завод для срочного ремонта.

Так было в трудные годы войны и позже: детей брали на праздники, водили в театр, привозили к ним своих ребят. И Татьяна Сергеевна, несмотря на свою работу, с увлечением выполняла все поручения, и часто Тимофей Иванович слышал, как, говоря по телефону, она называла детский дом «нашим домом».

Но когда однажды Тимофей Иванович спросил ее, кого же ему ждать, дочку или сына, она смущенно ответила:

— Боюсь тебе сказать. Ты знаешь, произошло какое-то перемещение понятий: мне не хочется «выбирать», мне это почему-то стало неприятно. Я привыкла к ним ко всем: восхищаюсь Людочкой, очень привязалась к Славику, но как я подумаю, что вот это мой ребенок, что я возьму его к себе на-

всегда, мне кажется, что мне-то он хорош, а как я буду ему? Чего-то не хватает во мне, вероятно, что привлекло бы ребенка.

Так прошла осень, и Тимофей Иванович, увлеченный большими делами, развертывающимися на его заводе, а может быть, не желая торопить жену, почти не напоминал о ребенке.

И вдруг наступило такое время, когда Татьяна Сергеевна реже стала ездить в детский дом, а после праздника Октябрьской революции не была там еще ни разу.

— Теперь я почему-то боюсь брать ребенка, — сказала она мужу, — из большой его семьи, где его окружают и дружба и любовь. Ты бы видел, какие у ребят были гости! Чудная женщина была, ткачиха. Людочка за ней ходила по пятам. Теперь или ты сам решаешь или подождем какой-нибудь судьбы: вдруг она мне подкинет ребенка, и я его так сразу и заберу.

Но, редко бывая в детском доме, Татьяна Сергеевна стала теперь обращать внимание на всех встречающихся ей детей. Выходя из троллейбуса, она оглядывалась на женщин, сидящих с детьми на первых местах, любовалась круглыми детскими лицами, чувствуя какую-то непонятную утрату. Когда она видела ребенка, стоящего у кассы в магазине и достающего деньги, чтобы заплатить за хлеб, она рассматривала его, стараясь установить, из какой он семьи и почему его — такого маленького — послали за хлебом. Может быть, он плохо живет, почему он такой серьезный? Ребенок должен бегать, резвиться, играть... В стране делается все, чтобы дети росли счастливыми, веселыми, чтобы детство их не омрачалось заботой.

Однажды в магазине игрушек она услышала возглас: «Ну что это! Опять ничего нет для морячков!» Молодая женщина с досадой смотрела на игрушки, и Татьяна Сергеевна совершенно ясно поняла: малыш этой женщины — моряк и хочет иметь пароход. У него должен быть пароход! Но вот почему у самой Татьяны Сергеевны все так не ладится? Людочка? Она боялась признаться себе и мужу, что с Людочкой она почему-то чувствует себя не просто: девочка в самом деле хороша, как картинка, но что-то отдаляет Татьяну Сергеевну от нее.

Однажды она сказала мужу:

— Может быть, возьмем все-таки Людочку? Она к нам привыкла, вот Галина Ильинична мне пишет, что девочка вспоминала о нас с тобой.

— Ну что же, — ответил муж. — Давай съездим туда вместе.

Глубокие, еще новые в эту зиму снега залегли вскруг знакомых домиков. Тропинки, протоптанные детьми, вели к невысокой, по плечи Тимофею Ивановичу, снежной горке; там покрасневшие ребята в шубках и валенках суетливо втаскивали вверх салазки и со смехом катились вниз. Тимофей Иванович сразу же включился в игру, поднимал санки на верх горки, а заодно и самих ребят, возил их по дорожке и все вглядывался в лицо жены: сно было грустное, хотя Людочка часто подбегала к ней.

«Ну что ты будешь делать? — думал он. — Придется пока подождать с ребенком: она в самом деле не сможет дать ему больше того, что есть у него здесь. При этих условиях я уговаривать и советовать не могу... Но как же хочется захватить одного из этих мальчуганов и сказать: «Сын! Поедем домой!»

Когда детей уложили спать после обеда, Тимофей Иванович нашел жену в кабинете заведующей. С решительным выражением лица она поднялась ему навстречу.

— Я прошу Марию Кирилловну отдать нам Людочку, я буду ей хорошей матерью.

— Ну что же, если ты так решила, я только могу обещать тебе полную поддержку.

Он говорил не то, что думал, а думал он, что настоящей любви к девочке у жены нет, а без любви в этом деле ничего не получится, а что делать, он и сам не знает. Он посмотрел на лицо заведующей, оно было озабоченно.

— Дорогая Татьяна Сергеевна, — сказала она, — чем-то этот ваш выбор смущает меня, — она подумала. — И кажется мне неокончательным. Ведь дело не в том, чтобы непременно усыновить... Может быть, вы подумаете еще?

— В самом деле, — сказал Тимофей Иванович, — мы еще поговорим с женой...

Когда они, попрощавшись с заведующей, спускались с крыльца, на большом лесном участке детского дома было тихо и пусто: еще не кончился тихий час. Голубые снега лежали под соснами, всюду в сторону от тропинок отпечатались детские следы. Около снежной горки, на блестяще укатанной дорожке валялись санки.

— Я ничего не знаю, — горячо говорила Татьяна Сергеевна, идя рядом с мужем и держась за его руку. — Я огорчаю тебя, но вот возьмем мы Люду — и я боюсь, что она начнет скучать у нас, я не чувствую в себе уверенности, что это правильный выбор. Помнишь, Мария Кирилловна сказала,

что ребенку лучше жить в большой, дружной семье детского дома, чем в маленькой семье без настоящей материнской любви. Как найти мне эту любовь?

— Таня,—сказал Тимофей Иванович очень бережно, но твердо,—не покончить ли нам с этой затеей? Ребенка берут не для украшения собственной жизни...

— Нет, нет,—перебила она.—Я знаю!

— Я знаю, что ты знаешь. Пойдем же и... больше не будем беречь себя. Хорошо?

Он спрашивал, а сам, взяв жену под руку, уже решительно вел ее.

— И больше мы не приедем сюда?—спросила она.

— Некоторое время нам лучше не приезжать,—ответил муж.

Аллея вела к воротам, украшенным пихтовыми гирляндами. С той стороны — Татьяна Сергеевна знала — есть надпись: «Добро пожаловать!» Добро пожаловать, советские люди, любящие детей, создающие им большую, человеческую семью. Каких прекрасных людей видела она здесь! Когда вошла та ткачиха с «Трехгорки», раскрыла руки и прижала к себе сразу троих ребятишек, как восторженно дети облепили ее! У нее было чудесное лицо, полное заботы и любви. А потом она достала сверток разноцветных лоскутиков, и ребята — и девочки и мальчики — ахнули от восторга. А как она ругала повариху на кухне за непромытый стол, взяла мочалку и сама вымыла стол добела! Такая возьмет ребенка сразу, не раздумывая, и не ошибется в выборе. Вот она, мать и хозяйка Советской страны.

Она высвободила руку из руки мужа и, крикнув: «Подожди здесь!», — побежала обратно. Она бежала, слезы мешали ей разбирать тропинку, и она проваливалась в снег. Она открыла дверь дома, где помещались трех- и четырехлетние дети. В коридоре на нее пахнуло свежесмытым полом. За дверью теплой «раздевалки» слышался смех, возня: няня одевала детей на прогулку.

— Тише, тише! Поспеете,—говорила она.

Ребятишки гурьбой стали выходить в коридор.

Татьяне Сергеевне не хотелось, чтобы дети увидели слезы на ее лице. Она вошла в спальню, уже опустевшую, и остановилась.

Большая комната с рядами детских кроваток была пуста: дети ушли отсюда. И без них все было пустое, белое, холодное. Она села на маленький стульчик у окна.

«Ведь и думать-то нечего,—сказала она себе.—Что-то уже случилось со мной, «так» я не могу уйти отсюда.—Она улыбнулась нежно и задумчиво:—Погоди, Тимофей, ты увидишь...»

Из-под кровати, таща за собой большого тряпичного гуся, вылез мальчуган лет трех или чуть побольше, круглолицый, еще бледный и несмелый, немного надутый, чем-то недовольный, отчего он, видимо, и спрятался сюда. Ребенок смотрел на нее в упор.

Так же нежно улыбаясь, почему-то до боли жалея его, маленького и одинокого в этой большой светлой комнате, она спросила:

— Что ты, малышик? Почему ты тут один?

Ребенок продолжал смотреть на нее во все глаза.

— Мама! — закричал он вдруг и, побежав к ней, споткнулся о ковер и уронил гуся:— Моя мама!

Она вскочила, подхватила мальчугана на руки, обняла его, заплакала и засмеялась.

Тимофей Иванович вошел в комнату. Он не успел еще сказать ни слова, как мальчуган, крепко держась за плечо матери, потребовал:

— Дай гуся!

И, схватив с полу гуся, Тимофей Иванович торопливо передал его сыну.

1950.



РАССКАЗ О РОДИНЕ

Это один из многих рассказов о моем отце...

В начале лета двадцать шестого года в город Усть-Каме-ногорск приехал не совсем обыкновенный человек. Когда пароход, шедший снизу, дал гудок, Миша Пряжников вместе с ребятами ловил рыбу на Иртыше и обрадовался поводу оставить неудачное сегодня сидение на реке и побежать посмотреть на людей, приехавших из далеких больших городов, которые, уж конечно, были лучше, чем маленький их город и мутный Иртыш.

Мальчики подбежали, как раз когда «Ермак», любимый пароход ребят, отдуваясь, подваливал боком к пристани и веселый пристанский рабочий Прохор только что поймал брошенный ему канат и накинул на короткий деревянный столб, добелá обтертый посередине. Пароход этот Миша любил потому, что у него был прожектор, так что он мог ходить в самую темную ночь, освещая себе путь широким голубоватым пучком света.

Потом Прохор побежал к середине борта, откуда «пароходские» спускали сходни, и ловко подтянул их так, что они легли удобно и ровно. С парохода, толкаясь, стали сходить люди с узлами, мешками, сундучками, а Миша с ребятами смотрел и удивлялся, как много народа привозит каждый раз «Ермак» и зачем столько людей ездят в разные стороны.

И вот одним из последних на сходнях появился человек, какого ребята еще не встречали и сразу признали особенным. Это был немолодой, скорее даже старый человек, с сильной проседью, широкоплечий, среднего роста, в серой фуражке с большим козырьком и в ватном черном пиджаке. На плече он нес связку длинных желтых удочек, как бы разделенных коленцами, — из чего были сделаны удилица, ребята не могли определить, так как не знали, что бамбук где-то существует в природе, — и два странной формы, особенно изогну-

тых ящичка, обшитых кожей. Эти непонятные ящички сразу привлекли их внимание.

Приезжий твердыми шагами небольших, обутых в штилеты ног сошел на пристань, поднял голову и, как бы вносясь в то, что его окружало, расширил ноздри и обвел голубыми веселыми глазами из-под темных еще бровей высокие берега Иртыша; они чем дальше, тем ближе сходились друг с другом, и, казалось, Иртыш делался все уже и уже и терялся среди них. Потом перевел взгляд на широкую равнину, откуда только что приехал, на остров пониже пристани, на серп блестящей серебряной протоки за островом и сказал кому-то, стоявшему с ним рядом:

— Устье Каменных гор! Понимаешь теперь, Черненькая, что это значит: Усть-Каменогорск!

Тогда ребята рассмотрели маленькую женщину с черными кудрявыми волосами, не прикрытыми ни платком, ни шляпой, стоящую рядом с неизвестным человеком и явно нерусскую. Около нее здоровенный Василий из «пароходских» складывал корзины и чемоданы: Миша понял, что люди эти приехали издалека и надолго. Он уже привык, что новые приезжающие из больших городов недовольно морщатся и говорят: «Ну и песчище же тут, ног не вытащишь!», — или называют их город деревней и дырой. Поэтому Мише и казалось, что все те города, откуда приезжают люди, лучше и красивее, чем их Усть-Каменогорск. Когда к нему подошел новый приезжий, он так и ждал обычной фразы...

— А где у вас Ульба? — спросил приезжий.

— Ульба? — ребята переглянулись и засмеялись, удивляясь тому, что в дальних городах знают про их Ульбу. — Там! — сказали они хором и указали в сторону впадения Ульбы в Иртыш.

— Замечательная река! — сказал приезжий своей спутнице. — Быстрая и холодная. Она с гор течет.

Замечательного в Ульбе, по мнению Миши, ничего не было, но он не стал противоречить. Один из мальчиков держал в руке крупные красные цветы.

— Посмотри, Черненькая, какие пионы! Дикие, а лучше садовых. И тюльпаны...

— Это не пионы, а марьяны коренья, — сказал Миша. — И не тюльпаны, а репка.

— Ага? Так! Ну, если ты все знаешь, то ты, может быть, скажешь мне, где бы нам с женой найти комнату.

— А ты что? Жить тут будешь? — переглянулся с ребятами Миша.

— Буду жить.

Комната нашлась недалеко от Ульбы, у мишиного деда, Василия Андреевича. Когда Миша приехал на телеге с но-выми людьми и их вещами к своему дому и приезжие вошли в чисто вымытые сени, дед сначала сказал, что комната-то есть, да больше ее сдавать не хотели, и совершенно очевидно для Миши, набил ей цену в полтора раза. Затем, видя, что на приезжих цена особенного впечатления не произвела, позвал их в горницу, и там они разговорились об охоте и ружьях, и приезжий вытащил из одного странного коротенького ящичка сначала двойные стволы, потом ложе, сложил, и получил, по его словам, «замечательный зауэр». Тогда Василий Андреевич велел Мише сходить за бабкой.

Полная и красивая Прасковья Степановна, войдя и поклонившись гостям, стала спрашивать, откуда они, и тут оказалось, что они приехали из самой Москвы. Черненко, жена приезжего, похвалила прибежавшую внучку, дочь старшего сына, Катюшку, назвала ее «красоточкой», и между женщинами началась разговор, будто они были уже давно знакомы. Вошла беременная Варвара, мишина мать, ходившая последний месяц, и назвала Прасковью Степановну «маман», на что — Миша заметил — приезжий чуть улыбнулся.

— Ну, что же, — сказал Василий Андреевич, — отдадим, что ли, комнату Александру Ивановичу. Ладно? — И старуха, которой московские гости, видимо, понравились, сказала:

— Ладно. Пусть с богом живут.

Миша больше всего интересовался разборкой вещей, а потому, как только были перенесены вещи, остался в комнате Александра Ивановича, хотя мать тянула его за рукав и жаловалась бабке, что Мишка ее не слушается.

Ружье снова разломано пополам и спрятано в кожаный ящичек. Миша все дождался, когда откроют второй ящик странной удлиненной формы, но не мог дождаться и спросил:

— Там тоже ружье?

— Нет, брат, тут не ружье, — сказал Александр Иванович, открыл футляр и снял красный шелковый платок, закрывавший что-то плотно уложенное под ним. Тогда на синем бархате, которым был оклеен внутри странный ящик, появилось нечто изогнутое, коричневое с тонкими вырезами по бокам и спущенными струнами, деревянное, что Миша не мог назвать сразу, хотя и догадался, что это инструмент, на котором играют.

— Ты знаешь, что это? — спросил приезжий.

— Я такого не видал еще. Может, гитара? — спросил Миша.

— Это скрипка. Вот разберемся, — я тебе сыграю.

Но разбирались вещи не так легко, потому что их было много и были они очень разнообразны. Одних рыболовных крючков было несколько пачек.

— На такой крючок тут не ловится, — сказал Миша, глядя, как квартирант раскладывает крючки по сорту и величине.

— А где ловится?

— На Кознаковском озере. Там окуни большие. Пятифунтовые. Поезжай с титякой, он тебе покажет места. Только это далеко отсюда.

— Непременно поедем! Но неужели пять фунтов окунь? Черненькая, слышишь? Вот так окуни! А?

Но скоро поехать не удалось. Александр Иванович ходил знакомиться в правление приисков, и Миша узнал, что он прислан из Москвы налаживать счетоводство на приисках алтайского золота, или, как его все называли в Усть-Каменогорске, «Алтзолота».

Приезжие зажили хлопотливо и весело, как птицы. Александр Иванович уходил с утра в правление или — бывало это часто — уезжал на несколько дней на рудники и, возвращаясь ли он с работы или приезжал с рудников, сейчас же, только поздоровавшись с женой, брал в руки скрипку и несколько раз проводил смычком по ее струнам, будто спрашивал, как она поживала без него, и слушал, что она отвечает. Он подвинчивал колки, опять проводил смычком по струнам и говорил жене:

— Знаешь, тут скрипка звучит лучше, чем в Москве. Послушай-ка, как идет концерт Берлио... — и он играл начало концерта.

И сейчас же раздавался высокий и чистый голос жены, которая безошибочно пела за ним трудную, прихотливую, нарядную мелодию. Александру Ивановичу это нравилось, потому что он не прерывал игры и, прижимая подбородком скрипку к плечу, косил глазами на струны, по которым легко двигался тонкий, красивый смычок. Потом жена, вспомнив что-то недоделанное по хозяйству, убежала, а Александр Иванович играл медленно и плавно и спрашивал Мишу:

— Хорошо звучит? Правда?

С женой квартирант обращался совсем не так, как Миша привык видеть и у соседей и в своей семье. Он гладил ее

по голове, называл хорошими, немножко смешными словами: «Черненькая, Маленькая, Армяночка», потому что его жена и на самом деле была армянка и звали ее Нунэ, по-русски — Нина. Жили они дружно и ссорились редко и всегда очень смешно: громко и быстро негодовали, чем-то возмущались — и сразу же ссора затихала, как будто ее не было. Оставалось впечатление, что прошумел веселый, летний дождь — и снова все светло и чисто на горизонте.

В свободное от работы время Александр Иванович всегда что-нибудь делал: набивал патроны для ружья, играл на скрипке, готовил удочки к предстоящей рыбной ловле, а иногда варил мазь для сапог: кипятил вместе рыбий жир, деревянное масло и деготь, так что в кухне, как говорила бабка Прасковья Степановна, «нельзя было продыхнуть», и затем, сняв с огня, распускал в теплой смеси баранье сало и воск, помешивал все черенком деревянной ложки или щепкой.

Миша присутствовал при всех занятиях Александра Ивановича и особенно любил набивать с ним патроны и слушать, как он приговаривает спокойным своим голосом:

— Порох утрясти... так! На него с легким, с легким нажимом кладем картонный пыж, на него войлочный... Опять с легким нажимом. Вот так! А на войлочный пыж пойдет дробь... семь золотников, сорок восемь долей... и на нее... как думаешь, Миша, положим мы на дробь толстого картонного пыжа, а еще лучше — тонкий, войлочный?.. Сделаем мы с тобой и так и так, а потом это дело проверим... Это, брат, будет заряд резкого боя...

Миша в год появления в Усть-Каменогорске Александра Ивановича ходил уже в третью группу, и было ему десять лет. Он был тонкий, высокий мальчик, с серыми глазами и большим, крутым затылком, на котором волосы росли, упорно завертываясь: казалось, они вьются, но это было неверно. Мать говорила, что у Миши «бычий затылок».

Александр Иванович, уезжая на рудники, всегда брал с собой свой «зауэр».

Однажды, когда Миша подбежал к тарантасу, на котором подъехал квартирант, — около него верхом на белой лошади сидел в казахском седле высокий, сутуловатый человек с винтовкой за плечами, — Александр Иванович вынул из-под сиденья небольшой сверток и, крикнув: «Держи!», — кинул его Мише. Миша поймал мешочек, но не удержал и уронил его на землю: такой он был тяжелый.

— То-то, — сказал Александр Иванович, — тяжелая штука, золото!

Золото он привез с рудника, чтобы сдать в Усть-Каменогорске. Обычно золото привозили рудничные служащие, но Александр Иванович никогда не отказывался довести, если ехал прямо в город.

— А знаешь, Миша, откуда я его привез? — и стал рассказывать о хребте Ак-джал и прииске Бодо.

— Ак-джал, — говорил он, — это значит: Ак — белый, джал — хребет, белый хребет! Золото там богатейшее. Замечательное место. Ветры, знаешь, какие! Бураны, а не ветры. И что замечательно — никаких заболеваний! Народ как кремень. Тебе, Армяночка, надо туда поехать.

— Что ты, что ты! — испуганно отвечала жена. — Я же не люблю ветра...

Но когда у Александра Ивановича выдавался свободный день и он собирался ехать ловить рыбу, жена его забывала и про ветер и про холод, если они были, и ехала с ним. Они проводили целый день на озерах, где водились знаменитые окуни, и приезжали усталые, загорелые, обветренные, с корзиной окуней, и жена тут же вытаскивала из корзины самого большого и несла показывать хозяевам. Окуней привозили так помногу, что для чистки их сделали специальную дырочку в столе, куда заостренной палочкой прищелмлялся хвост окуня: тогда чистить рыбу было легче.

Привозили с собой цветы, кору и стволыки незнакомых приезжим деревьев, из которых можно было делать поплавки или мундштуки, за что Александр Иванович и принимался в тот же вечер. У него был особый ящичек с инструментами: клещи, плоскогубцы, молоток, рубанок — все у него было.

Миша замечал, что жильцы удобны для его родных, потому что они спокойные, аккуратные люди и с ними не может быть никаких поводов для спора, но родителям они непонятны, и они считают своего квартиранта чудаком.

Когда Александра Ивановича не бывало дома, жена его садилась около русской печки в кухне рядом с мишиной матерью и рассказывала ей, что муж ее, конечно, хороший, особенный человек, но вот уехал из Москвы, хотя ему предлагали видное место — работать по снабжению Быксунских горных заводов, где он раньше служил несколько лет, что у них в Москве квартира в две комнаты и есть зеркальный шкаф и пианино, на котором она играла. Мише представлялись необыкновенные шкафы, из одних зеркал, и он не понимал, что в этом могло быть хорошего: пианино же он видел

в школе и, по его мнению, не следовало оставлять такую хорошую вещь в Москве: пусть бы играла на нем Нунэ Сарки-совна в Усть-Каменогорске.

А по вечерам бабка Прасковья Степановна рассказывала деду о шкафах, и оба, качая головами, называли Александра Ивановича чудаком.

Однажды квартирант поехал зачем-то на Риддер. Рудник еще не был восстановлен после гражданской войны, и все говорили, что дорога туда давно не отремонтирована и ездить по ней опасно. Жена отговаривала его.

— Ведь если бы это тебе непременно нужно было, я понимаю,— говорила она.— Неужели не может съездить кто помоложе?

— Надо посмотреть самому,— отвечал ей муж и поехал на Риддер, а когда вернулся, восхищался дорогой и всем рассказывал, как красивы горы и что по дороге местами из-под шпала осыпалась земля и когда едешь на открытой платформе, то кое-где край ее нависает над пропастью.

— Ну, зачем тебе было ездить? — пугалась жена.— Ведь это ужас, страх какой!

— Как же не посмотреть на такой богатейший рудник? Мы беремся за него сейчас,— он только и ждет настоящих рук... Сейчас, конечно, все это бедно, мало, еще не тот масштаб,— отвечал Александр Иванович.— И потом ты забываешь: я ведь ездил-то по делу...

Миша уже привык, что Александр Иванович интересовался всем без исключения. Однажды ранней весной, 14 марта, он отправился с кассиром Алтзолота Часовниковым по талому снегу за утками. Был как раз утиный пролет. Миша пошел с ними. Вернувшись, Александр Иванович рассказывал, как он разговорился с Часовниковым о повадках змей, и Часовников, чтобы показать, как змеи зимуют, спустился в оставленную шахту и вынес оттуда в руках клубок сонных змей.

— Интересный человек,— рассказывал дома Александр Иванович о Часовникове,— мне было бы неприятно взять в руки змею, а ему — ничего.

Чем Миша становился больше, тем чаще он замечал, что квартирант восхищается не только тем, что он видел сам, а и тем, что он видеть не мог, а знал только по рассказам.

— Маркакуль,— говорил он жене,— замечательное озеро. Вода в нем синяя и стоит, как в полной чаше. Здорово глубокий этот Маркакуль, говорят... — и смотрел голубыми весе-

лыми, уже как бы начавшими выцветать и тем только и напоминавшими, что Александр Иванович уже немолодой, глазами.

— Александр Иванович, — спросил его Миша, — а разве вы были сами на Маркакуле?

— Не был, Миша, да это и не надо. Мне о нем так рассказали, что я его все равно что видел. Знаменитое озеро! А Зайсан? Ну, это уже другое дело! Это — богатство неисчислимое. Вот твой отец и дед бывали много раз, ты их расспроси.

Но дед не умел рассказывать ни о Маркакуле, ни о Зайсане, хотя полжизни из своих шестидесяти лет провел на последнем; Александр же Иванович умел все выспросить у деда и у Степана, мишиного отца, и потом так рассказывал Мише, как будто сам побывал на Зайсане и видел, какое количество рыбы добывают там и как матросы кричат «майна» и «вира», когда грузят бочки на баржи. Зайсан со своими песчаными берегами, запахом рыбы и горячим солнцем оживал перед Мишей, и ему тоже казалось, что он бывал там с отцом и Александром Ивановичем.

Случилось однажды, что Александр Иванович вернулся с рудника очень поздно вечером, и, к удивлению всех, не его сопровождал верховой, а сам он сидел на лошади верхом, а его спутник сидел в тарантасе, привалившись неловко на бок и свалив к плечу голову, завязанную полотенцем. Миша помнит, как выскочили навстречу и бабка Прасковья Степановна, и мать Варвара, и жена квартиранта и расспрашивали наперебой, что случилось. А случилось простое: в дороге Александра Ивановича караулили и, зная, что он везет золото, стреляли из леса, ранили стражника в голову, и если бы не Александр Иванович, то и убили бы обоих. Но он быстро подбежал к упавшему стражнику, схватил винтовку и отстреливался по маячившим на опушке леса фигурам, пока, видно, не ранил тяжело кого-то из нападающих. Тогда он посадил стражника в тарантас, сам сел на лошадь, и так они добрались до дома.

— Ой, беда, беда! — говорила, слушая, Прасковья Степановна. — Бросил бы ты им золото, пес с ними. А то ведь и убить могли.

— Нельзя, Прасковья Степановна, золото — вещь государственная.

— Да тебе бы ничего не было. Все ведь налицо: стражник раненый.

— Мое дело было — доставить золото, — сказал квартирант, — я и доставил.

Всю зиму и вторую весну жилец так же переезжал с рудника на рудник, оставляя жену в Усть-Каменогорске, привозил ей разную дичь и цветы, расспрашивал Прасковью Степановну, какие из них целебные и от каких болезней, записывал в книжечку, все так же играл в свободное время на скрипке и набивал патроны к своему «зауэру».

Как-то раз, уже летом, когда кончились занятия в школе, он взял Мишу с собой на рудник, и там Миша целые дни ходил один и почти не видел Александра Ивановича. Со скуки он стал дразнить мальчика-алтайца и поколотил его. Вернувшись в дом, где они остановились, и увидев Александра Ивановича, Миша обрадовался.

— Где ты был? — спросил квартирант.

— Там такой косою парнишка ходит, алтаец, я его поколотил.

— За что? Вот приедем, я бабке скажу.

Миша пояснил, что от бабки ему за это ничего не будет, потому что она не любит алтайцев, и на вопрос «почему?» ответил:

— Потому что они нерусские.

— Так, — сказал Александр Иванович, — а разве моя Черенькая хуже оттого, что она нерусская?

Миша подумал и не ответил. Жена квартиранта очень любила детей и постоянно угощала его и Катюшку сладким жирным печеньем, которое она часто делала и называла по-своему, по-армянски.

— А в школе тебе не говорили о том, что алтайцы — умные, деятельные люди?

— Говорили.

— Ну, вот что! Мы познакомимся с этим алтайцем и посмотрим, какой он.

Александр Иванович пошел, отыскал мальчика и привел его в дом. Тот вошел — крепкий, складный парнишка лет двенадцати, с тугими розовыми щеками и недоверчивым взглядом черных глаз. Он увидел Мишу и отвернулся.

— Я хочу попросить тебя, — сказал Александр Иванович, — перевести мне несколько слов. Как по-вашему «здравствуйте»?

— Аман.

— Ага! Аман? Так. А змея?

— Джейлан.

— Так. А звезда?

— Нар.

Последовал целый ряд русских слов, которые мальчик легко понимал и переводил.

— Эге! Ты, значит, по-русски хорошо понимаешь?

Мальчик кивнул головой.

— Ну, вот что,— сказал Александр Иванович,— пока я буду на руднике, приходи ко мне, пожалуйста, по вечерам, учить меня. Я буду записывать названия слов и выучусь говорить по-вашему. А за это я подарю тебе хороший ножик. Хочешь?

У мальчика заблестели глаза, и он с торжеством взглянул на Мишу.

Когда он вышел, Александр Иванович сказал:

— Вот видишь, он образованнее тебя: он знает два языка, а ты — один. Уж не говоря про то, как он ездит верхом: тебе так не суметь. Ты его считаешь хуже себя. Оснований для этого я не вижу.

Потом Миша вырос. Как он рос, он не помнил, только застал себя высоким, крепким и выносливым мальчиком пятнадцати лет. Он хорошо учился и метко стрелял, как и все в их роду. Александр Иванович уже два года жил на прииске Водянистом в Лайлах, и ехать к нему надо было по Иртышу и слезать на пристани Баты. Миша все хотел к нему съездить, когда наступят летние каникулы, но отец не любил, чтобы сын куда-нибудь ездил не по делу. Прошла коллективизация, и отец его после страшной ругани с дедом и Варварой вступил в артель, но был недоволен, что не его выбрали председателем, все хмурился и молчал.

На Лайлы Александр Иванович уехал после нашумевшего на весь город и всю округу дела отдачи под суд правления одного из рудников ревизионной комиссией, в чем главная роль принадлежала Александру Ивановичу. Говорили, что он открыл крупные злоупотребления и, несмотря на то, что члены правления обещали покрыть все суммы, лишь бы дело не дошло до суда, Александр Иванович остался непоколебим.

— Как же тебе детей их не жалко было? — спросила Прасковья Степановна. — Ты же видел: все они семейные. Покрыть надо было дело-то. Они, говорят, обещали тебе все суммы вернуть.

— Ничего нельзя было покрыть, Прасковья Степановна, — ответил квартирант. — Дело это государственное.

Миша запомнил, как Прасковья Степановна сказала:

— Жестокий ты человек, Александр Иванович.

Он запомнил, потому что всегда привык считать жильца очень добрым человеком. Настолько добрым, что, казалось ему, Александр Иванович не замечал в людях ничего дурного, и Миша помнил, как говорил ему:

— А тебя отец нынче обманул: он тебе катанки купил за восемь рублей, а сказал, что за двенадцать, а ты и поверил, — и напоминал, что прежние жильцы дешевле платили за комнату.

— Я еще ваших цен не знал, когда приехал, — отвечал квартирант. — Но тут не слова нужны, Миша. Настает сейчас пора, которая соскребет с человека старую окалину. Это будет не уговором и словами, а делом. Поживешь — увидишь!

Мише казалось, что он на все должен так отвечать: «Поживешь — увидишь!» Но оказывалось, что не на все! И, вероятно, потому, что не ко всему относился Александр Иванович одинаково, его и послали на самый трудный рудник, где он должен был поставить отчетность и наладить работу. В Усть-Каменогорске после судебного процесса бабка и дед насмешливо называли его «нашим большевиком».

За последние два года Миша слышал не раз о том, что дела на Лайлах идут все лучше и лучше, хвалили Александра Ивановича и рассказывали, что он воспитал целую школу молодых счетных работников, а сам все так же успевает ездить на рыбную ловлю и охотиться, а по вечерам играет в рудничном клубе на скрипке. И есть у него ученик, которого он учит играть на скрипке, один рабочий, — и о нем он хлопочет, чтобы его отправили в Москву.

Однажды в апрельский прозрачный день Александр Иванович снова появился в Усть-Каменогорске. Они ехали с Нунэ Саркисовной в далекий город Красноярск, куда послали Александра Ивановича на рудники Северо-Енисейской тайги. Три дня они жили у Пряжниковых, дожидаясь парохода.

Когда Миша увидел Александра Ивановича, ему показалось, что он ничуть не изменился, только стал носить очки, а Нунэ Саркисовна стала полнее, но была все такая же хлопотливая и радужная.

— Ну, брат, чего я только не посмотрелся за это время! — начал Александр Иванович, как только они уселись за чай, и стал рассказывать о новом колхозе на быстрой речке Бухтарме, о мараловом заповеднике, где сейчас все дело повернул по-новому Байсеитов, человек энергии замечательной, о новых месторождениях золота.

И, как и в прежнее время, нечаянно вспомнил о Байкале и рассказал, какая у него удивительная особенность, у этого озера, что в нем живет нерпа — тюлень, а тюлень — морское животное, и наши ученые все разбираются, как оно попало в Байкал, и это замечательно. А берега у Байкала удивительные: сложены из древних пород, и по ним растут хвойные леса, и по хмурым осенним дням берега эти стоят, как стальные твердыни, и отражаются в холодной свинцовой воде, а в трещины и щели ветер наносит снег, и он сыплется холодный, твердый, как крупа. А по берегу несутся поезда, в которых тепло и удобно сидят люди и едут на Дальний Восток, где разворачивается новое строительство в новом краю.

— Александр Иванович, — спросил Миша, — я вот, сколько вас знаю, всегда помню, что вы рассказываете о замечательных краях, которые вы видели и про которые вам только рассказывали, и всегда вы всем восхищаетесь. Почему вы, если даже и не видели, все-таки говорите, что оно замечательное, хорошее. Ну, вот я про Усть-Каменогорск могу говорить, раз я тут родился и вырос, но не про то, чего я не видел.

— Я думаю, Миша, это потому, что чем больше живет человек в наше время, тем больше он понимает, что такое родина.

На другой день Миша отвез их на пристань, занес им вещи в каюту и с острой жалостью почувствовал, что из его жизни уходит что-то очень хорошее.

— Ну, Миша, будь здоров! — сказал Александр Иванович на прощание. — Ты нас встретил, и ты же провожаешь. Посмотрим, каков-то Енисей! Река красота необыкновенной. Чехов любовался Енисеем, сравнивал с Волгой и говорил, что с Волгой связана история порабощенного человека, а на могучем Енисее разовьется могучий и свободный его труд. И уже развивается, Миша! Но, скажу тебе, милый мой, что тяжело мне уезжать отсюда. Полюбил я богатый этот край и скажу тебе еще раз: счастлив ты, что родился в нем и вообще в наше время, на нашей земле.

Глаза у него стали влажные. Александр Иванович обнял Мишу, а за ним Нунэ Саркисовна поцеловала его.

— Деточка! — сказала она, хотя Миша был в полтора раза выше ее. — Как же я вас всех полюбила!

Миша стоял и смотрел, как отошел пароход, и видел у

борта две головы, приветливо кивавшие ему: белую — Александра Ивановича, и черную кудрявую голову Нунэ Саркисовны.

Когда Миша окончил школу, он поехал в город Омск на том самом пароходе «Ермак», который ходил с прожектором и освещал перед собой путь в темные ночи. Миша стоял на носу и смотрел, как широкая полоса света захватывает оба берега Иртыша, как выплывают перед ним красные и белые огни бакенов, и думал о том, что вот он будет теперь учиться в высшей школе и потом поедет работать в далекие края, о которых рассказывал Александр Иванович. В этом году Миша часто получал от него письма.

Александр Иванович жил теперь на Черноморском побережье в городе Сочи, куда перевелся по собственному ходатайству: его Черненская тяжело заболела в Сибири, и ей надо было пожить на юге.

«Проснулись мы сегодня рано, — писал Александр Иванович, — а в саду, словно на Алтае, птицы поют, дрозды, мы их больше всех птиц любим: такие они веселые. Здесь у нас все расчищают, приводят в культурный вид, и это к месту на таком курортище знаменитом. Но часто, Миша, вспоминаем Алтай, Кознаковское озеро, куда мы ездили с прииска на Лайлах, огромных окуней, которых мы с Черненкой таскали одного за другим. Здесь, к сожалению, нет приличной реки, где можно с удочкой посидеть. А с охотой пришлось проститься: у меня на глазах сделались катаракты, болезнь глазных хрусталиков, и вылечить их нельзя, а только можно их вовсе выдернуть. Но других хрусталиков вставлять в глаз еще не научились, зато можно пристроить хрусталики перед глазами — особые толстые очки. Теперь у меня трое очков: в одних я работаю и вижу самое близкое, в другие вижу человека, с которым разговариваю, а в третьи — далекие дороги, поле, лес, небо...»

Когда Миша прочел бабке и деду это письмо, дед сказал: «Напиши Александру Ивановичу, что хоть операция и дорого стоит, но для зрения ничего не жаль. Он теперь человек беспомощный».

Александр Иванович ответил:

«...Никогда беспомощным человеком не был! Чувствую силу науки и рад был применить прекрасное ее изобретение. А за операцию нынче дорого не берут: не старое время. Срок шесть лет поработал, так с меня дорого и взять нельзя!»

Значит, стоит человек починки, смотришь, он еще годиков двадцать послужит. Но для такой операции деньги все-таки понадобились большие; два раза в Ростов съездил к молодому врачу Орлову: молодчина оказалась, первый сорт. И вот на мои глаза продал я моего «зауэра» за тысячу рублей. Можно сказать, выстрелил из него метко последний раз и передал новому хозяину... Зато сбил себе этим выстрелом знаменитую птицу — зрение!»

Миша подумал, что в этом письме был весь Александр Иванович с его верой в науку и в молодого врача, вернувшего ему зрение.

Когда Миша окончил Омский сельскохозяйственный институт, он не поехал в далекие края, а вернулся на Алтай и стал работать в колхозе агрономом. Трудился над получением высоких урожаев.

«Радуюсь, Миша, твоему выбору, — написал Александр Иванович, — правильно сделал. За всю жизнь не видел я места на нашей земле «лучше» и «хуже». Труд наш на любимой нами земле делает всю ее «лучше». Мне пишут, что на Майкопчае нашли рудное золото, — это Сергей орудует, помнишь на Ак-джале мальчика, который меня учил говорить по-алтайски?..»

Однажды в июне, когда Михаил ехал в Усть-Каменогорск из колхоза по широким полям и радовался ровной зелени, покрывающей их, ему повстречался сосед его, Иван Кириллов.

— Ну, Михаил, — сказал он, — поторапливайся! Немцы напали на нас и уже бомбят наши города. Сейчас Молотов говорил.

Михаил сразу даже и не понял, как это могло случиться в такой чудесный день. Он осмотрелся, увидел свои поля, вытнул коня кнутом по сытой спине и погнал обратно к дому. На другой день он уже был в рядах Красной Армии.

Михаил Пряжников вместе с сибирскими стрелками сначала был направлен под Москву, а после ранения, в январе сорок второго года, зачислен в формирующийся горнострелковый полк. Так он попал на Кавказ и сражался там против немецких альпийских дивизий на Кавказском фронте, — всю осень участвовал в серьезных боевых операциях.

Что было самым трудным в горной войне? Горный бой ведется за пути сообщения, за горные перевалы, и трудности его связаны с передвижением в постоянно изменяющихся условиях. Тяжелые переходы по тропам в ливень, в жару, в

стужу; снегопады в высокогорной области, когда отряд теряет путь и бойцы, забившись в расселины, переживают буран под снегом; лавины и буйные ливни; трудная в горах доставка продуктов; ветер на высотах, который держит человека, как стена; гибель товарищей — не перечислишь всего!

В конце декабря началось наступление наших армий на Кавказе, и после жестоких боев на оборонительных рубежах немцы стали отходить, а потом беспорядочно отступать на Таманском и Керченском направлениях. Вместе со своей частью Михаил Пряжников спустился в широкие долины предгорий. Отсюда он написал однажды письмо.

«Дорогой Александр Иванович, пишу вам в слабое для нас время: мы выбиваем немцев с Кавказа. Да что! Уже он покатился, теперь его не остановишь. Он нам нелегко достается, но все же это не те неисчислимые трудности, что пришлось на нашу долю в горных условиях; теперь можно сказать об этом: мы их преодолели хотя и ценой гибели многих товарищей.

Однажды в декабре нам пришлось устранять прорыв линии связи на высоте больше трех тысяч метров. Вот бы вы, Александр Иванович, посмотрели местность! Конечно, что и говорить, горы наши Кавказские — замечательные. Стоишь среди горных вершин, и будто вокруг тебя вся наша земля! Но я — маленький человек — тяну связь к своим, а природа, суровая, величественная, хмурится, и ты не знаешь: то ли она тебя, то ли ты ее!

Как часто бывает на вершинах, неожиданно сорвался ветер, закрутился снежный буран. Мы просто плавали в снегу. Я потерял ориентировку и отбился от своих. Мне бы остановиться сразу, а я все искал направление и взял далеко в сторону. Трое суток вокруг меня все кипело, неслись тучи снега, катились лавины, хорошо, что не в моем направлении. Я залез под каменный выступ и держался там, полузадохнувшийся, ослабевший, но живой. Через сутки я все отдал бы, кажется, чтобы только уснуть. Меня так клонило ко сну, что я тер глаза снегом, непрерывно двигал руками, ногами, заперщал себе покой.

Был такой момент — голова у меня закружилась, и я поймал себя на том, что погружаюсь в сон и... позволяю себе: засыпай! И тут увидел вас, будто вы приехали с Нунэ Саркисовой с рыбной ловли, привезли окуней, цветов и говорите мне: «Замечательное это Кознаковское озеро! Ты только

обрати внимание, Миша, на какой земле ты живешь». И мне в сознание так остро вошло: «Живешь!» Жить! Жить захотелось чертовски. Жить — это действовать, бодрствовать, а если засну, — будет смерть. И я стал вслух себя будоражить, убеждать: «Растирай ноги, Михаил, крепче, они плохо чувствуют, можешь поморозиться... Закопайся плотнее с правой стороны... Хоть Александр Иванович и хвалил ветер на Ак-джале, все же справиться с ним трудно...» «Но, Миша, замечательно, никаких заболеваний!» Я даже усмехнулся, вспомнив ваши слова; правда, смеяться я уже не мог: лицо мне все стянуло, познобило.

На четвертые сутки нашли меня наши бойцы. Они нашли меня на склоне горы: я полз к ним и уже порядочно продвинулся. Как только они меня подхватили на руки, я заснул, как убитый. Ноги у меня сильно опухли, но не обморозились. Говорят, меня напоили горячим чаем с водкой, а я и не помню.

Вот как мне пришлось побывать в ваших краях! Теперь после войны ждите в гости.

Вас я часто вспоминаю. Вспоминаю, как вы с дедом спорили, когда я в комсомол вступал, а он ругался. Теперь, Александр Иванович, я в партии. В нашу газету я придумал давать маленькие рассказы в отдел «Моя родина», тут мне пригодились ваши рассказы о далеких краях, — у нас бойцы самых различных национальностей, и им приятно читать о своих местах.

Отец мой с недавних пор тоже воюет; может, еще с ним встретимся. Ну, будьте здоровы и бодры. Ваш Михаил».

Ему очень хотелось повидать Александра Ивановича в его особенных очках, рассказать ему, что он не чувствовал себя беспомощным даже один, окруженный безмолвием горных вершин, но он наступал, уходя вслед за фашистскими армиями все дальше от Черноморского побережья.

Письмо его я нашла в столе у отца, когда приехала в Сочи в сорок третьем году. Миша не знал, что Александр Иванович умер перед самой войной. В комнате еще было все попрежнему: скрипка в футляре стояла на столике, бамбуковые удилица в углу, на пюпитре еще лежала нотная тетрадь с концертом Виотти.

За острыми верхушками кипарисов синело море: с балкона была видна огромная магнолия, на ветку ее был перекинут провод от радиоприемника. Сохранилось несколько писем, полученных уже во время войны: у Александра Ива-

новича было много друзей. Одно было от виолончелиста Ковалевского — он искал поддержки у друга: сын его погиб. Другое от Васи Даниленко, которого Александр Иванович учил играть на скрипке. В начатом письме к внучке Александр Иванович писал: «Сегодня наши зяблики — пальмы — поморозили себе носы, листья их на концах пожелтели и расщепились...»

1944—1948.



СОДЕРЖАНИЕ

Новая фигура	3
Любовь	19
Рассказ о родине	32

Редактор — Г. ЯРЦЕВ.

А 00611. Подписано к печати 20/1 1954 г. Тираж 150.000. Заказ 3215.

Изд. № 82. Формат бумаги 70 × 108½. 0,75 бум. л.— 2,05 печ. л.

Типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина,
Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 60 коп.

ГОССТРАХ

*принимает
на страхование*

ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО

мебель, одежду, обувь, музыкальные инструменты, книги, ноты, картины, пишущие и швейные машины, радиоустановки, велосипеды, сельскохозяйственные продукты, строительные материалы и др.

ГОССТРАХ ВЫПЛАЧИВАЕТ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

в случае гибели или повреждения имущества от пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий.



**ЗАКЛЮЧАЙТЕ И СВОЕВРЕМЕННО
ВОЗОБНОВЛЯЙТЕ ДОГОВОРЫ
СТРАХОВАНИЯ ДОМАШНЕГО
ИМУЩЕСТВА!**



**ОБРАЩАЙТЕСЬ В ИНСПЕКЦИЮ
ИЛИ К АГЕНТУ ГОССТРАХА.**

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ ПО РСФСР